

Владимир ПАПЕРНЫЙ

Мос- Анджелес

Избранное

библиотека
журнала

неприкосновенный
запас



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Владимир Паперный
Мос-Анджелес. Избранное

«НЛО»

2018

Паперный В.

Мос-Анджелес. Избранное / В. Паперный — «НЛО»,
2018 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

Настоящий сборник является продолжением предыдущих «Мос-Анджелес» и «Мос-Анджелес Два» (НЛО, 2004, 2009). Здесь собраны лучшие статьи, воспоминания, заметки и рассказы из предыдущих сборников, плюс много новых эссе. Темы, которые объединяют разные по жанру тексты, это столкновение культур, конфликт своего и чужого, искусство глазами культуролога.

Умение автора писать смешно о серьезном и серьезно о смешном проявляется и в автобиографических, и в, условно говоря, историко-культурных разделах сборника. Владимир Паперный – писатель, дизайнер, искусствовед, культуролог, историк архитектуры. Окончил Строгановское училище и аспирантуру Института теории и истории архитектуры в Москве. Его диссертация о сталинской архитектуре «Культура Два» выдержала множество изданий на русском и других языках и стала культовой книгой. С 1981 года живет в США.

© Паперный В., 2018

© НЛО, 2018

Содержание

Родственники, друзья и знакомые	6
Дедушки и бабушки	7
Галич	15
Високосный год	19
Как я написал письмо Белле Ахмадулиной	24
Асаркан	28
Конец соцарствия	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Владимир Паперный

Мос-Анджелес. Избранное

© В. Паперный, текст, обложка, 2018,

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

* * *

Родственники, друзья и знакомые



Четыре поколения Паперных (слева направо): Владимир, Самуил, Зиновий, Дмитрий

Дедушки и бабушки

В 1928 году дедушка Коля был уволен из Большого театра «за антисемитизм» и сослан в Красноярск. Можете представить себе его восторг, когда десять лет спустя его любимая единственная дочь сообщила ему, что выходит замуж за еврея.

Ссылка была связана с дирижером Николаем Головановым, с которым дедушка работал в Большом театре и которого, естественно, тоже уволили. Голованов жаловался на «жидовское засилье в театре». Сталин назвал его «вредным и убежденным антисемитом». «Головановщина, – писал Сталин в 1929 году, – есть явление антисоветского порядка, из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться». Голованов одумался, порвал с «головановщиной», и его вернули в театр. Дедушку тоже вернули из ссылки, но в Большой он уже не попал. Голованова потом еще дважды увольняли, но свои четыре сталинские премии он все-таки получил, правда, это было уже после войны, когда антисемитизм из «вредного» явления постепенно превращался в «полезное».

Колина мать Анна была одинокая, кроме него у нее было еще двое детей: мальчик и девочка. Работала надомницей на конфетной фабрике, приносила домой мешок карамелей и бумажные обертки. По вечерам вся семья дружно занималась заворачиванием. Вечно голодные дети воровали конфеты и заворачивали вместо них камешки, за что мать их регулярно порола ремнем.

Анна была умная и практичная, сдала две комнаты жильцам, в оставшуюся переехала с младшим сыном. Старшую отдала в ученье портнихе, с проживанием и едой, а Колю – в синодальное училище при одном из кремлевских храмов, тоже с проживанием. За хороший голос и слух мальчика приняли в мужской хор. Потом, когда голос стал ломаться, Коля Озеров перешел в реальное училище.

На выпускников с хорошими отметками был большой спрос. Колю взял себе в помощники владелец ювелирной лавки купец Сиротинин. Лавка находилась на Красной площади, в Верхних торговых рядах. Интересно, что Колиной зарплаты хватало на всю семью, теперь уже можно было отказаться от жильцов. У Сиротинина на «корпоративах» Колю всегда заставляли петь. Какой-то музыкант услышал его пение и посоветовал учить Колю дальше. Сиротинин поехал в Московскую консерваторию узнавать, сколько это стоит. Цена оказалась приемлемой, и Коля начал учиться «без отрыва от производства». Буржуй, лавке которого очень скоро суждено было стать экспроприированной, не только платил за обучение, но и отпускал Колю с работы на занятия.

Учась в консерватории, дедушка Коля вступил в русское хоровое общество, где познакомился с бабушкой Симой. Она тоже училась в консерватории, но, поскольку у нее, в отличие от Коли, не было богатого спонсора, она училась по специальной программе для одаренных детей из бедных семей (да, да, была такая в Московской консерватории до революции). Некоторые педагоги считали, что учить музыке «кухаркиных детей» – варварство, и охотно делились своим мнением с самими учениками. Преподаватель сольфеджио, например, говорил Симе:

– Сейчас будет урок для тех, кто платит деньги, а вы, Морозова, подождите в коридоре.



Анна Озерова с детьми Алексеем и Николаем

Симина мать была карелкой. Карелки, как все в России тогда знали, были «смирные, кроткие и добросовестные». В свое время Петр I переселил под Лихославль одну карельскую деревню, видимо, чтобы по-мичурински привить эти ценные качества русскому народу. В эту деревню, начиная с эпохи Петра, ездили серьезные женихи выбирать невест.

Симина мать была сиротой и красавицей – и то и другое сильно повышало ее market value, тем более, что какое-то приданое за ней было – карельская деревня заботилась о своих

сиротах. Как-то туда приехал из Москвы владелец нескольких извозных дворов на Рогожской заставе. Увидев шестнадцатилетнюю красавицу-сироту, он понял – это судьба.

Когда моя мама была пионеркой, она как-то спросила свою бабушку:

– Бабушка, а ты помнишь крепостное право?

– Помню, внученька, – отвечала кроткая карелка.

– А как его отменяли, помнишь?

– Помню, внученька. Мы так плакали, так плакали. Что теперь с нами будет, кто о нас позаботится...

Юная пионерка быстро потеряла интерес к разговору.

Мама родилась 9 июня и была названа Калерией в честь святой великомученицы Калерии (Валерии) Кесарийской. Я подозреваю, что из множества святых этой недели Калерия была выбрана по созвучию с родиной ее бабушки: Карелия-Калерия.

Дедушка Шмилик родился в местечке, где-то между Минском и Пинском, в абсолютно нищей семье, где еды всегда не хватало, а показывать, что ты хочешь есть, считалось неприличным. Привычки голодного детства остались у него навсегда. Когда, уже в сравнительно сытые 60-е годы, все садились обедать, он обычно говорил: «мне не кладите, я совсем не голоден, ну только может самый маленький кусочек».

Как полагается, он учился в хедере и йешиве, знал наизусть Тору и чуть ли не весь Талмуд, но местечковый мир казался ему затхлым, и из него хотелось бежать. Старший брат Левик бежал первым. Он стал революционером-подпольщиком и членом РСДРП чуть ли не с ее основания. А Шмилика манила русская литература. Русский язык и русская культура стали для еврейского мальчика примерно тем же, чем для многих поколений русских была «заграница».

Русское правительство шло навстречу еврейским детям. В Киеве для них создавались специальные гимназии, где перед ними раскрывали все прелести православия, самодержавия и народности. Однако великая русская литература, находящаяся в фазе критического реализма, звала совсем не туда. То, о чем писали Гоголь, Чехов, Короленко и Салтыков-Щедрин, прочитывалось еврейскими детьми скорее как иллюстрации к Карлу Марксу, чем к графу Сергею Уварову. Когда надо было петь гимн царю, вместо «дажди ему силу» Шмилик и другие хулиганы пели «дажди ему килу» – старое русское слово, обозначающее грыжу. В другой раз еврейские «головорезы» отрезали голову на портрете Николая II и приклеили ее к его ногам. Все эти как бы невинные выходки материализовались в Екатеринбурге в 1918 году в чудовищном по жестокости расстреле императорской семьи.

Гимназию он все-таки закончил и многие произведения русской литературы знал наизусть – не только стихи, но и прозу.

Бабушка Ита была из тех же мест. Ее отец, Израиль Майзиль, был раввином, его работа состояла в чтении Торы и Талмуда. Всю остальную работу совершала мать, Сура-Хана. Понятно, что в этих условиях ни о каком богатстве не могло быть и речи, но голода и нищеты тоже не было. Детей было семеро. Брат Иты, Иехиэль, женился на Фелиции, девушке из богатой семьи. Она играла в театре Таирова, знала много языков и безуспешно пыталась обучить этим языкам меня. Я учился отвратительно, хотя что-то из Лафонтена в памяти все-таки застряло: «Et bonjour, Monsieur du Corbeau, Que vous êtes joli!»

– Тетя Феля, – спрашивал я ее, – вы же были евреи. Как же вы могли жить в Москве – тогда же была «черта оседлости»?

– О, это было очень просто, – отвечала Фелиция. – Раз в месяц приходил жандарм, служанка выносила ему блюдо со стаканом водки и золотым рублем. Он выпивал водку, брал рубль, благодарил и уходил.

Фелиция с мужем Иехиэлем (братом бабушки Иты) жила в коммунальной квартире. С симпатичным соседом Юликом отношения были прекрасные. Когда Юлика в 1965 году

вдруг арестовали за публикации на Западе и приговорили к пяти годам лагерей, тетя Феля была в шоке.

– Я уверена, – говорила она, – что он ни в чем не виноват. Он был такой хороший мальчик. Наверняка этот ужасный Андрей Синявский его уговорил.

Она совсем не разделяла наших антисоветских настроений. Мы иногда заводили разговоры на тему «как хорошо было при царе».

– Если бы не эти ужасные большевики, – говорили мы, – мы бы сейчас свободно ездили за границу!

– Я вижу, вы ничего не знаете о том времени, – отвечала она. – Атмосфера была гнетущая. Какая там свобода! Все мои друзья по театру находились в депрессии от невозможности делать то, что считаешь нужным и правильным.

При этом она довольно трезво воспринимала советскую жизнь.

– У нас в театре, – говорила она, – самым страшным преступлением считалось играть с «сантиментом». А когда я включаю радио, все, что я слышу, – это сплошной сантимент.

По семейному преданию, ее дядя был одним из совладельцев московского «Метрополя». У него, по рассказам Фелиции, были левые взгляды. В 1917 году он охотно отдал «Метрополь» рабочему классу и уехал в Берлин. Через год приехал посмотреть и увидел, что большевики тащат оттуда мебель для своих кабинетов. Страшно возмутился и больше не приезжал.

Жениться на Ите, девушке из респектабельной и сравнительно состоятельной семьи, было серьезной победой в жизни дедушки Шмилика. Но уже в 1919 году молодая пара, бросив абсолютно все, бежала от погрома в Киеве с двумя новорожденными близнецами Борей и Зямой на руках. Спасенному Зяме суждено было стать моим отцом, а Боре – отцом Ирины Паперной.

Заслуги дедушкиного брата Левика перед большевиками не были забыты, и он довольно скоро оказался в Москве, где стал большим начальником в Совете профсоюзов.

– Левик пришел к Бухарину, – рассказывал дедушка Шмилик, – и сказал, что он написал статью о демографии. Тот спросил: источниками на каких языках вы пользовались? На немецком. Тогда, говорит Бухарин, я даже читать не буду, немцы ничего в этом не понимают, все главные источники по-английски. Левик, понятно, расстроился, но решил, что он так легко не сдастся. Засел за учебники и за полгода так выучил английский язык, что его послали в командировку в Америку.

Я хорошо помню две деревянные теннисные ракетки, которые Левик привез племянникам Боре и Зяме. На них было красивое клеймо: Antelope Brand. Это все, что осталось от Левика. В 1937 году он был назначен наркомом земледелия Украины и почти сразу же расстрелян как американской шпион. К этому времени родители бабушки Иты с двумя из семерых детей уже уехали в Палестину, а семья Паперных жила в Москве. Возможно, именно поэтому никто из родственников не пострадал – Киев и Москва, видимо, шли по разным ведомствам. Боре и Зяме сказали, что дядя Левик погиб в альпинистском походе, сорвавшись в пропасть. Зная его бесшабашный характер, поверить в это было легко.

Дедушка Шмилик был сентиментален. Он часто пересказывал нам, детям, истории из Торы, чаще всего про Иосифа Прекрасного. Он делал большие паузы – теперь я понимаю, что при этом он мысленно переводил с иврита. Каждый раз доходя места, где Иосиф говорит братьям «неужели вы не узнаете меня, я брат ваш, Иосиф», дедушка начинал плакать. Мы все знали, что в этом месте надо плакать, и терпеливо ждали. Дедушка беззвучно плакал несколько минут, потом вытирал слезы и продолжал рассказ.

Уверен, что в этой истории ему слышался голос любимого брата: неужели ты забыл меня, я брат твой, Левик.

Много лет спустя, когда дедушки уже не было, я попытался вспомнить историю Иосифа и рассказать ее своему сыну. Когда дошел до слов «неужели вы не узнаете меня», у меня из глаз вдруг градом полились слезы.

Павловский условный рефлекс.

В 1937-м мои родители Лера и Зяма познакомились в ИФЛИ. Институт истории, философии и литературы, созданный в 1935-м, был одним из элементов возрождения имперской культуры. Именно тогда вновь были введены воинские звания царской армии, осуждено использование марксистских схем в преподавании и возвращены колонны в архитектуру. Известные дореволюционные профессора – Г.О. Винокур, Д.Н. Ушаков и другие – были извлечены из коммуналок, и им было позволено преподавать практически как до революции.

«Твои родители, – рассказывали мне потом их соученики, – самая красивая девушка курса и самый блестящий студент, все пять лет ИФЛИ проходили, держась за ручки». В 1939-м они уже обсуждали будущий брак, а пока, полные презрения к буржуазной морали, решили вместе поехать отдыхать на Черное море. На платформе Курского вокзала впервые встретились провожающие их родители. К шоку от того, что «дитя собирается вступить в брак с чужим», добавлялось смущение от свободы нравов детей, но кто после кровавой эпохи войн и революций обращает внимание на такие мелочи. Официальное знакомство состоялось, детям дали на дорогу денег, и поезд ушел.

Первое время в Курпатах было абсолютно счастливым, но потом произошло непредвиденное. У перегревшегося на солнце Зямы произошел такой нервный срыв, что Лера решила послать телеграмму его родителям. К ним немедленно выехала бабушка Ита, они с Лерой вдвоем отвезли Зяму в Москву и устроили в больницу. Зяма поправлялся, но Лера была в панике: готова ли она связать жизнь с не очень здоровым человеком? Решила поговорить со своей мамой.

Бабушка Сима, дочь кроткой и добросовестной карелки, внимательно посмотрела на нее и тихо сказала:

– Каленька, ну как же можно бросить больного человека!

В эти годы Калерия была убежденной комсомолкой и атеисткой, христианское милосердие было ей не свойственно, но эта фраза на нее подействовала. Вопрос был решен. Бабушка Сима и дедушка Коля были верующими, поэтому для них вопроса вообще не было – христиане не бросают больного человека.

К этому времени дедушка Коля работал в Наркомате совхозов, заведывая самостоятельным хором, но главной его деятельностью, во многом полуподпольной, было сочинение церковной музыки – незадолго до смерти в 1972 году он получил орден от патриарха Пимена, а эти сочинения до сих пор поют в московских церквях. С одной стороны, вера удерживала его от многих неблагоприятных поступков, почти обязательных для советского человека. Когда, например, ему настойчиво предлагали быть осведомителем НКВД, он ответил: «Меня в детстве отец ремнем драл, если я доносил, так что извините, не могу». Как ни странно, это сошло ему с рук, его, правда, сослали на два года в Сибирь, но учитывая атмосферу в стране, можно сказать, что ему повезло. С другой стороны, прегрешения плоти – чревоугодие и прелюбодеяния – с его верой вполне уживались.

Пожалуй, самым главным его качеством была доброта. Он обожал делать подарки. Мне тоже иногда что-то доставалось, но я по юношескому идиотизму его подарков не ценил (за исключением, разумеется, велосипеда «Орленок»). Как-то он мне подарил старинное мужское кольцо в виде змеи с отделением для яда. Я выдумал и всем рассказывал, что это было кольцо Гитлера, с помощью которого он и отравился. После многочисленных переездов на двух континентах кольцо, к сожалению, пропало.

И еще одно качество дедушки Коли – организаторские способности. Во время войны он отвечал за эвакуацию всех детей работников Наркомата совхозов в башкирский городок

Миловка, недалеко от Уфы. Рискую своим служебным положением, он сумел вывезти, снабдить жильем и продовольственными карточками не только свою дочь (мою будущую маму), но и ее новых родственников: бабушку Иту и ее беременную невестку Миру, жену Бори, ушедшего добровольцем на фронт. Дедушка Шмилик в это время преподавал русскую литературу в военно-морской школе (тогда его еврейский акцент все еще не был препятствием) и имел звание майора. Он был эвакуирован вместе со школой куда-то под Калугу. Зяма, освобожденный по болезни от службы, рыл противотанковые рвы под Ельней.

Возможно, дедушка Коля когда-то и не слишком любил евреев, но теперь, когда они стали частью его семьи, его доброта и забота распространялась и на них.

Дедушка Шмилик, как мы знаем, в юности порвал с иудаизмом, а после гибели на фронте его сына Бори вступил в партию. В брежневскую эпоху он разочаровался и в партии.

– Если бы я не боялся, что это испортит жизнь твоему отцу, – говорил он мне, – я бы швырнул им в лицо этот партбилет.

Дедушке подарили транзисторный приемник «Спидола». Он пришел с ним в радиомастерскую и закричал прямо от входа:

– Он не ловит «Голос Израиля»! Вы можете починить?

Мастер, оказавшийся, как говорил дедушка, *ex nostris*, поманил его пальцем и сказал тихо:

– Не надо так кричать, оставьте, мы все сделаем.

После этого голос Израиля звучал на весь писательский дом у метро «Аэропорт» непрерывно.

Зяме на самом деле терять уже было нечего – за его песни и антисоветские пародии, распространившиеся в самиздате, его уже исключили из партии и теперь собирались уволить «доктора наук и старшего научного сотрудника» с работы. Его спас, сам того не зная, французский коммунист, а впоследствии отрицатель Холокоста, принявший ислам, Роже Гароди.

Гароди написал в 1960-х книгу «Реализм без берегов», где доказывал, что реализм включает в себя и таких модернистов, как Джойс и Кафка. Не перевести на русский язык книгу французского коммуниста было неудобно, но и публиковать ее казалось опасным, – а вдруг все начнут писать как Джойс. Решено было опубликовать, но дать отпор.

На роль оппонента назначили бывшего «врага народа», старательно делавшего новую карьеру, Бориса Сучкова. Он писал и носил черновики в ЦК, а там ему все время говорили: «слабо, надо крепче». В конце концов ему удалось врезать как надо, и книга Гароди вышла одновременно с разгромной рецензией. Сучкова за заслуги назначили директором Института мировой литературы, где и работал мой отец.

На нового директора стали немедленно давить с двух сторон. Ему звонили из ЦК и говорили: «Вам известно, что у вас работает человек, исключенный из партии? Какие вы собираетесь принимать меры?» Одновременно ему звонили представители «прогрессивной либеральной общественности» и говорили прямо противоположное: «Надеемся, вы не дадите в обиду талантливого пародиста?»

Сучков оказался между двух огней. Как официальный представитель советской литературы за границей и участник различных международных конференций, он дорожил репутацией «либерала». С другой стороны, не принять меры было бы прямым вызовом ЦК. Его решение было по своему гениальным. На стене института появился приказ (я видел его своими глазами), где говорилось примерно следующее: «Паперного З.С. за допущенные идеологические ошибки наказать переводом из сектора советской поэзии в группу Чехова». Это было серьезным понижением.

Дедушка Шмилик, хотя и разочаровался в коммунизме, детство, проведенное за изучением Торы, все еще вспоминал с отвращением:

– Схоластика! Обскурантизм! Средневековая наука! У них даже имя Бога нельзя было произносить вслух.

– Дедушка, а какое имя у Бога? – спрашивали дети.

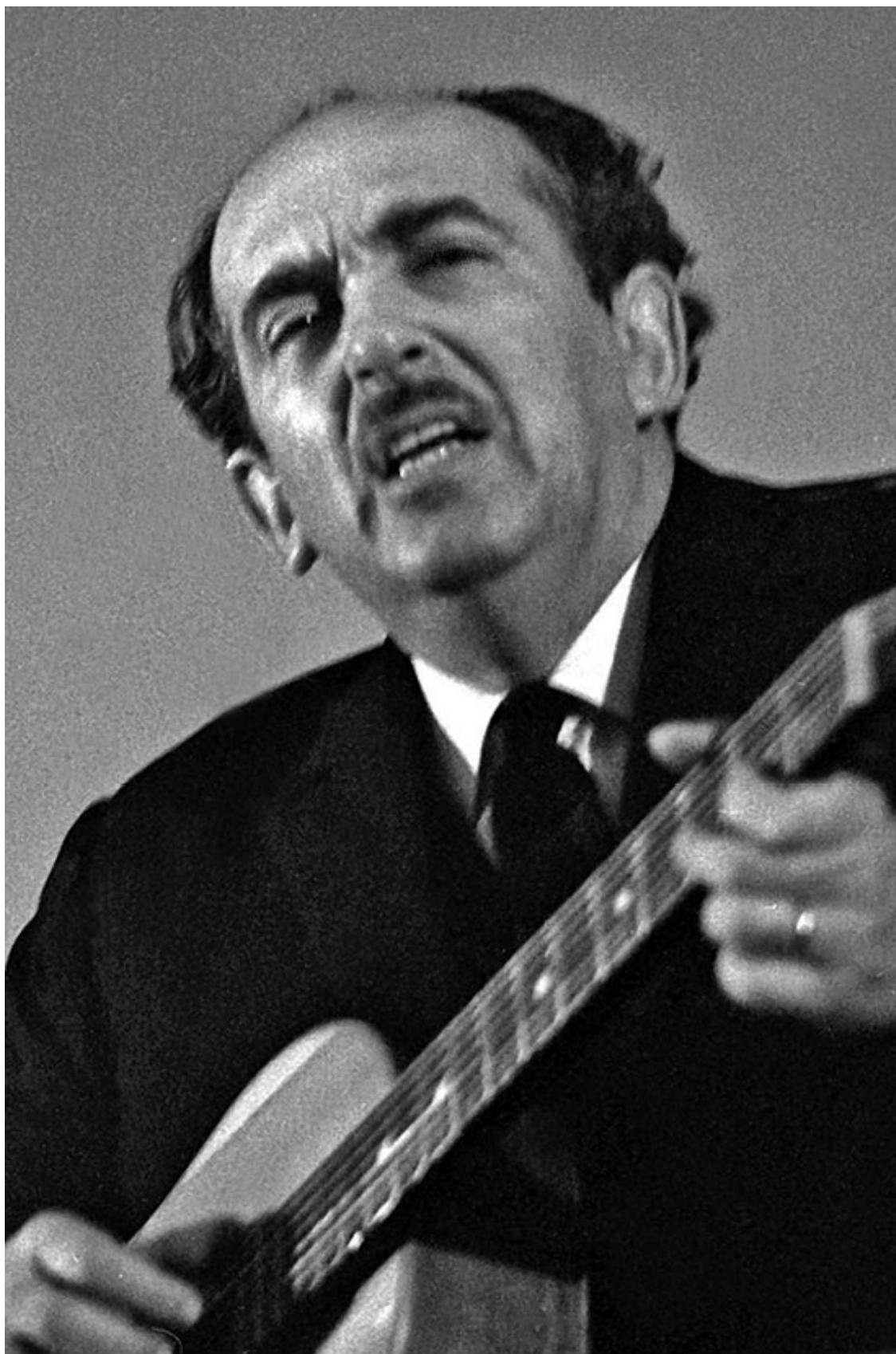
– Имя? Ну...

Он замолкал, потом пробовал еще раз:

– Его имя... э...

Так и не смог произнести.

2013



Александр Галич

Галич

Их было два брата, Толя и Валя Аграновские. В 1970-х Толя считался советским «журналистом номер один», а потом, по слухам, написал все книги Брежнева. Валя был младше и менее знаменит, но зато писал пьесы и жил в нашем подъезде этажом ниже. Как-то Толя пришел к нам со своей красавицей женой Галей и с гитарой и спел песню «Облака».

*Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял,
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.*

Мне было 15 лет, и на меня сильное впечатление произвели и песня, и жена.

– Автора назвать не могу, – сказал Толя строго, – у него могут быть неприятности.

Год спустя я сидел на пляже Дома творчества писателей в Коктебеле и учился играть на шестиструнной гитаре по самоучителю.

– Что ты, мальчик, так бессмысленно проводишь время, – сказала мне дама в розовом купальнике, – давай-ка я научу тебя петь три песни Галича и покажу три аккорда. Все девочки будут твои.

Одна из песен оказалась «Облака». Авторство Галича, судя по всему, уже не было секретом. Я довольно быстро освоил аккорды и начал развлекать знакомых песнями Галича. Как-то раз возле писательского кооператива, около метро «Аэропорт», я столкнулся с самим Александром Аркадьевичем, с падчерицей которого тогда дружил.

– Вадик, – сказал он мне с улыбкой, – зашли бы как-нибудь к нам, вам ведь нужно расширять репертуар.

Я был смущен: ему донесли! Сам зайти я не решился, но, когда на домашний концерт Галича позвали моих родителей, меня взяли с собой. В скромную «аэропортовскую» квартиру набилось около сотни человек. Сидели на чем попало. Духота была невыносимая.

– Саша, – громко говорила жена Галича Ньюша, – сними пиджак, очень жарко.

– Ньюша, – мягко отвечал Галич, – если мне будет жарко, я сниму.

– Это прекрасный твидовый пиджак, – продолжала Ньюша, обращаясь уже к гостям, – мы купили его в Англии, а он не хочет его снимать.

Этот театральный диалог продолжался еще минут пять, потом все затихли и концерт начался.

Песни Галича можно условно разделить на две группы: пародийно-сатирические и серьезные. В пародийных советская действительность доводилась до абсурда, это был своего рода соц-арт. Вот, например, знатный рабочий Клим Петрович выступает на митинге и читает по бумажке, которую ему сунули по ошибке:

*Израильская, говорю, военицина
Известна всему свету!
Как мать, говорю, и как женицина
Требую их к ответу!*

И... ничего не происходит. Первый секретарь обкома говорит ему одобрительно:

*Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
Очень верно осветил положение!*

Пародийные песни были смешными и пользовались успехом, даже в моем исполнении. Серьезные песни ни мне, ни моим слушателям не нравились: слишком все это было в лоб. Вот, например, песня о вторжении советских войск в Чехословакию в августе 1968-го.

*На севере и на юге
Над ржавой землею дым,
А я умываю руки,
А он умывает руки,
А мы умываем руки,
Спасая свой жалкий Рим.
И незачем притворяться,
Мы ведаем, что творим.*

Проблемы начались, когда Ваня Дыховичный, женатый тогда на Оле, дочери члена Политбюро Полянского, решил развлечь тестя и его гостей магнитофонными записями Галича. Члены Политбюро пришли в ужас, Галич был отовсюду изгнан, и в конце концов ему пришлось уехать из страны. Покойный Ваня отрицал всю эту историю и, по слухам, даже объяснялся с «дядей Сашей», говоря, что он виноват, на что дядя Саша вроде бы ответил: «Вань, да, понятно, что все это ерунда. Но согласись, что ерунда красивая». Будем надеяться, что кто-нибудь из участников откликнется и расскажет, как все было на самом деле.



Могила Александра Галича

Галич жил сначала в Мюнхене, потом в Париже. 15 декабря 1977 года его убило током, когда он пытался подключить телевизионную антенну. По одной версии, это было дело рук КГБ, по другой – ЦРУ, но, по-видимому, это был несчастный случай.

Одна из песен, написанных в эмиграции, называлась «Когда я вернусь». Мне кажется, что сейчас как раз настало время для возвращения песен Галича, причем не пародийных, которые интересны скорее как памятники эпохи, а серьезных, потому что призыв перестать «умывать руки» сегодня актуален как никогда.

Поводов, по которым каждому из нас надо принять решение – промолчать или нет, – много: несправедный суд, уничтоженные памятники, фашистские лозунги, власть, не выполняющая своего предназначения, как сказал бы Державин, «от сильных защищать бессиль-

ных», и т. д. Писателя Юрия Домбровского в свое время спросили, почему он демонстративно вышел из Союза писателей в связи с процессом Синявского и Даниэля, а когда исключали Пастернака, не сделал ничего. Он ответил:

– Орудие производства писателя – это его совесть. Если моя совесть задета, я писать не могу. Я не знаю, почему моя совесть никак не пострадала, когда исключали Пастернака, но сейчас моя совесть задета, и, чтобы сохранить способность писать, я должен был что-то сделать.

Мне кажется, что совесть – это орудие производства любого нормального человека, и если что-то кажется тебе чудовищно несправедливым, молчание в конце концов отразится на качестве того, что ты делаешь.

*Ах, как просто попасть в первачи,
Ах, как просто попасть в богачи,
Ах, как просто попасть в палачи.
Промолчи, промолчи, промолчи.*

2011

Високосный год

Мне было 15 лет. Я был трудным подростком. Вместо школы проводил все время в кафе «Артистическое» в проезде МХАТа (сейчас Камергерский переулок), где вокруг легендарного Асаркана сидела разношерстная компания актеров, режиссеров, искусствоведов, художников, журналистов, поэтов и лиц без определенных занятий. Там можно было встретить Олега Табакова, Игоря Квашу, Олега Ефремова, искусствоведа Наталью Крымову, художников Юло Соостера и Юрия Нолева-Соболева. Там можно было встретить прозаика Павла Улитина. Там же иногда появлялся замшелого вида футурист Алексей Крученых.



Кафе «Артистическое», 1960-е

Однажды вечером в дверях кафе появился Анатолий Эфрос. Он не любил этой богемной компании и заехал по дороге с «Мосфильма», чтобы забрать жену, Наталью Крымову.

– Толя, посиди с нами пять минут, – попросила Крымова.

Ему притащили стул, и он с недовольным видом втиснулся между нами.

– Что у вас там происходит? – продолжала Крымова. Эфрос тогда готовился к съемкам фильма «Високосный год» по роману Веры Пановой «Времена года».

– Да вот, – ответил он, – никак не найдем мальчика на роль Сережи Борташевича.

– А какой тебе нужен мальчик?

– Какой? Ну... вот вроде этого, – и он показал на меня.

– Ну и возьми этого, – сказала Крымова.

Эфрос быстро повернулся ко мне.

– Ты актер?

- Нет.
- Играл когда-нибудь?
- Нет.
- Учился на актера?
- Нет.
- Можешь завтра приехать на «Мосфильм» к 10 утра?
- Могу. Завтра школа, но можно прогулять.

Как я потом узнал, отсутствие актерского образования резко повысило мои шансы. Эфрос ненавидел актерские штампы. Когда фильм уже вышел, он рассказывал Асаркану:

– Из-за того, что Смоктуновский гениальный актер, а Вадик совсем не актер, все остальные мне кажутся жутко фальшивыми.

Во время съемок его главной задачей было сохранить мою актерскую невинность. Он не давал мне никаких указаний и запрещал съемочной группе требовать от меня чего бы то ни было.

– Скажите ему, чтобы вставал точно на этот крест на полу, он не попадает в кадр, – кричал оператор.

– Ваша проблема, – отвечал Эфрос, – двигайте камеру.



Кадры из фильма «Високосный год», 1961. Режиссер Анатолий Эфрос, сценарист Вера Панова, оператор Петр Емельянов, композитор Карэн Хачатурян, художник Евгений Свидетелев

– Скажите ему, чтобы говорил громче, – кричал звукооператор, – ничего не записывается, все придется переозвучивать.

– Значит будем переозвучивать, – неумолимо отвечал Эфрос.

Для полного реализма, или неореализма, он настоял, чтобы я снимался в моей собственной одежде – к большому неудовольствию директора картины, который должен был платить мне, точнее, моим родителям за аренду.

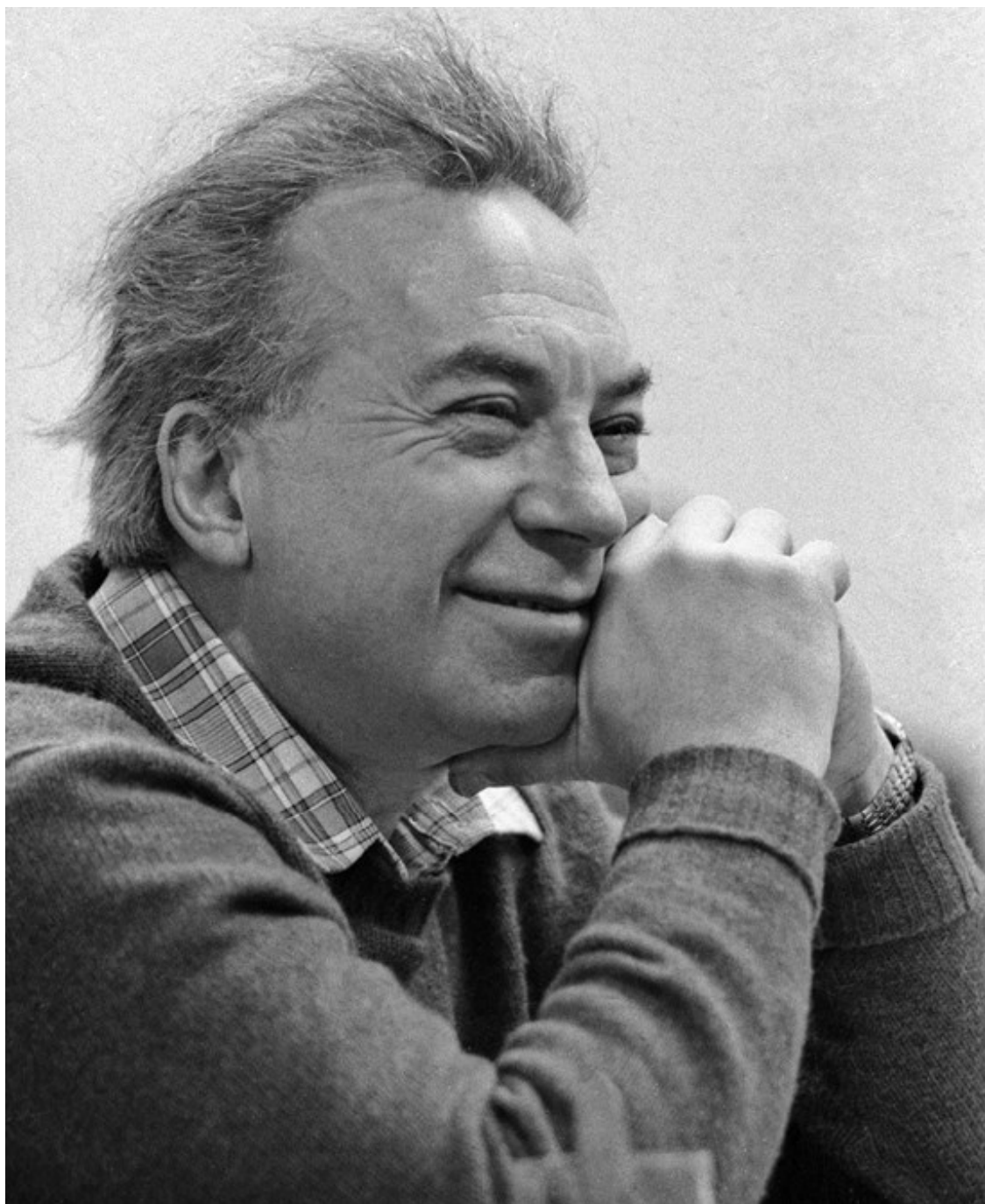
Была, возможно, и еще одна причина, почему он выбрал меня для этой роли. Анатолий Васильевич родился в Харькове, его родители работали на авиационном заводе. Его всегда тянуло к детям из интеллигентных семей. Как-то много лет спустя я пригласил его на детский самодеятельный спектакль, где я участвовал как художник. Он приехал с сыном Димой, и они оба вели себя как дети: хохотали и хлопали в ладоши. Когда я спросил, что ему понравилось, он ответил:

– Больше всего понравилась аудитория – хорошо одетые молодые люди с интеллигентными лицами.

Два факта – отсутствие у меня актерского образования и наличие «интеллигентных родителей» – решили дело.

Я уже знал, что буду сниматься вместе с великим Смоктуновским. После роли князя Мышкина в театре у Товстоногова он уже считался гением. Каково же было мое разочарование, когда выяснилось, что в сценарии нет ни одной сцены, где участвовали бы мы оба. Две сюжетные линии сценария – Куприяновых и Борташевичей – почти не пересекались. За полтора года съемок я так и не познакомился с великим актером.

Как-то весной приезжаю на очередное переозвучивание. Вхожу в гигантский павильон тон-студии «Мосфильма». В противоположном конце студии, в двухстах метрах от меня, стоят Эфрос и Смоктуновский и оживленно разговаривают. Я замираю. Дальше происходит следующее. Смоктуновский видит меня, говорит что-то Эфросу и быстрыми шагами идет через всю студию. Подходит, наклоняется ко мне и говорит своим трагическим голосом князя Мышкина:



Анатолий Эфрос

– У меня к вам очень большая просьба. Когда закончится озвучивание, не уезжайте, пожалуйста, сразу. Мне надо с вами очень серьезно поговорить.

Все два часа озвучивания я провел как в тумане. Он хочет со мной поговорить. Как актер с актером. Хочет поделиться профессиональными секретами. Или, наоборот, чтобы я с ним поделился. Что бы это ни было, свершилось. Эти полтора года прожиты не зря.

Вот, наконец, озвучивание закончено.

– Где Смоктуновский? – спрашиваю ассистента режиссера.

– Уехал.

Когда Эфроса спрашивали, что представляет собой Смоктуновский как человек, он обычно отвечал так:

– Смоктуновский – это такой тонкий инструмент, который мгновенно подстраивается к собеседнику и выдает именно то, что тот хочет услышать. Что за этой изменчивой оболочкой и есть ли там вообще что-нибудь, мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Видимо, произошло следующее. Смоктуновский поймал мой восторженный взгляд и сразу понял, каких именно слов я от него ждал. Добросовестно, с выражением, произнес этот текст и тут же забыл обо мне.

Когда в 1992 году в Лос-Анджелес приехал спектакль по пьесе Энквиста «Из жизни дождевых червей», я поразился, какая пропасть была между поразительной игрой Смоктуновского и игрой просто хороших актеров. После спектакля я подумал, не стоит ли зайти за кулисы и выяснить наконец, о чем он хотел со мной «очень серьезно поговорить» 31 год назад. В последний момент решил оставить загадку неразгаданной и не зашел.

2012

Как я написал письмо Белле Ахмадулиной

В начале 70-х моя младшая сестра Таня и я сняли зимнюю дачу у вдовы писателя Лукницкого в Переделкино. Я после развода оставил квартиру жене и сыну, Таня не хотела жить с родителями, и мы оба хотели жить здоровой деревенской жизнью.

На соседней даче жила Белла Ахмадулина со своим юным и беспутным мужем Эльдаром, недолго, впрочем, удержавшимся в этом статусе. Как получилось, что у известной поэтессы не было на даче телефона, а у вдовы он был, я не знаю, но несколько раз в день Белла забегала к нам звонить, и в результате мы с Таней оказались невольными хранителями большого количества ее личных тайн (которые, разумеется, умрут вместе со мной).

Возникло что-то вроде соседской дружбы. Когда к ней приезжала подруга-парикмахерша, Белла звала нас с Таней на бесплатную стрижку. Подруга обычно не возражала или делала вид, что не возражает, она дорожила статусом придворной дамы. Когда к Белле приходили гости, она часто приглашала и нас. Хорошо помню один такой вечер.

– Смотрите на них, – запела Белла своим поэтическим голосом, когда мы вошли, – это брат и сестра. Ведь это только в девятнадцатом веке такое могло быть: брат и сестра. Ведь только у Тургенева, правда?

– А ты знаешь, где я твоего Мишу Луконина видел? – сказал вдруг пьяный Эльдар. – В гробу.



Белла Ахмадулина

— Эльдар, — нежно пела Белла, — ты должен думать о своем творчестве, о своем сценарии, смотри, к нам пришли брат и сестра...

Так пролетел примерно год. Литфонд СССР, владелец дачи, решил отобрать ее у вдовы, и нам пришлось съезжать. Стало ясно, что дружба с Беллой вне дачного соседства и телефона долго не протянет. И тут мне пришла в голову идея перевести эту дружбу в художественно-поэтический жанр. Я решил написать Белле письмо, демонстрирующее, что я незаурядная творческая личность.

Это письмо где-то сохранилось в моем архиве. С одной стороны, журналистская добросовестность требует, чтобы я его воспроизвел. С другой стороны, мне стыдно: я перечитывал его несколько лет назад — оно было претенциозным, натужным и абсолютно бездар-

ным. К счастью, решения принимать не пришлось – письма в той папке, где ему полагалось быть, сейчас не оказалось. Видимо, какой-то тайный доброжелатель его уничтожил. Помню начало:

*О, как пугает и привлекает меня этот Дом Напротив,
за Зеленым Забором, возле Вонючей Канавы...*

Ответ пришел быстро. В «Литературной газете» появилась поэма Ахмадулиной «Дачный роман», в которой были описаны и мы с Таней, и мое письмо. Все основные факты пересказаны в поэме достаточно точно, кроме моего письма. Во-первых, Белла его опозтировала, во-вторых, сделала его объяснением в любви (судя по литературному качеству моего письма, это была не любовь, а скорее суетное желание дружить со знаменитостью). Вот письмо в интерпретации Беллы:

Затем пришло письмо от брата:

*«Коли прогневаются Вы,
я не боюсь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился – еле видный,
доныне излучает свет
ладонь...» – с печалью деловитой
я поняла, что он – поэт,
и заскучала...*

Дальше в поэме появляется Пушкин, в которого влюблена она, но, поняв, что имеет дело с поэтом, Пушкин тоже начинает скучать:

*Не отвечает
и думает: – Она стихов
не пишет часом? – и скучает.*

Поэма кончается вариацией на тему стихотворения ее предыдущего мужа. У Евтушенко:

*О, кто-нибудь, приди, нарушь
Чужих людей соединенность
И разобщенность близких душ.*

У Ахмадулиной:

*Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сырых две лады,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.*



Белла Ахмадулина

В последующие годы мы неоднократно встречались, но никогда не упоминали ни моего письма, ни ее поэмы. Я как-то приехал брать у Беллы интервью для статьи «Писатели и вещи» и сфотографировал ее на фоне коллекции граммофонов ее третьего (или четвертого, если считать Эльдара) мужа, Бориса Мессерера. Последняя встреча произошла в Лос-Анджелесе. Я услышал, как Белла шептала хозяйке дома, указывая на меня:

– «Дачный роман» – это про него.

Тридцать лет назад она превратила мое глупое и претенциозное письмо в поэзию, тем самым как бы исполнив мое желание возвыситься до ее уровня. Теперь смотрела на меня как на свое творение.

Сегодня из четверых персонажей поэмы в живых остался я один.

2010

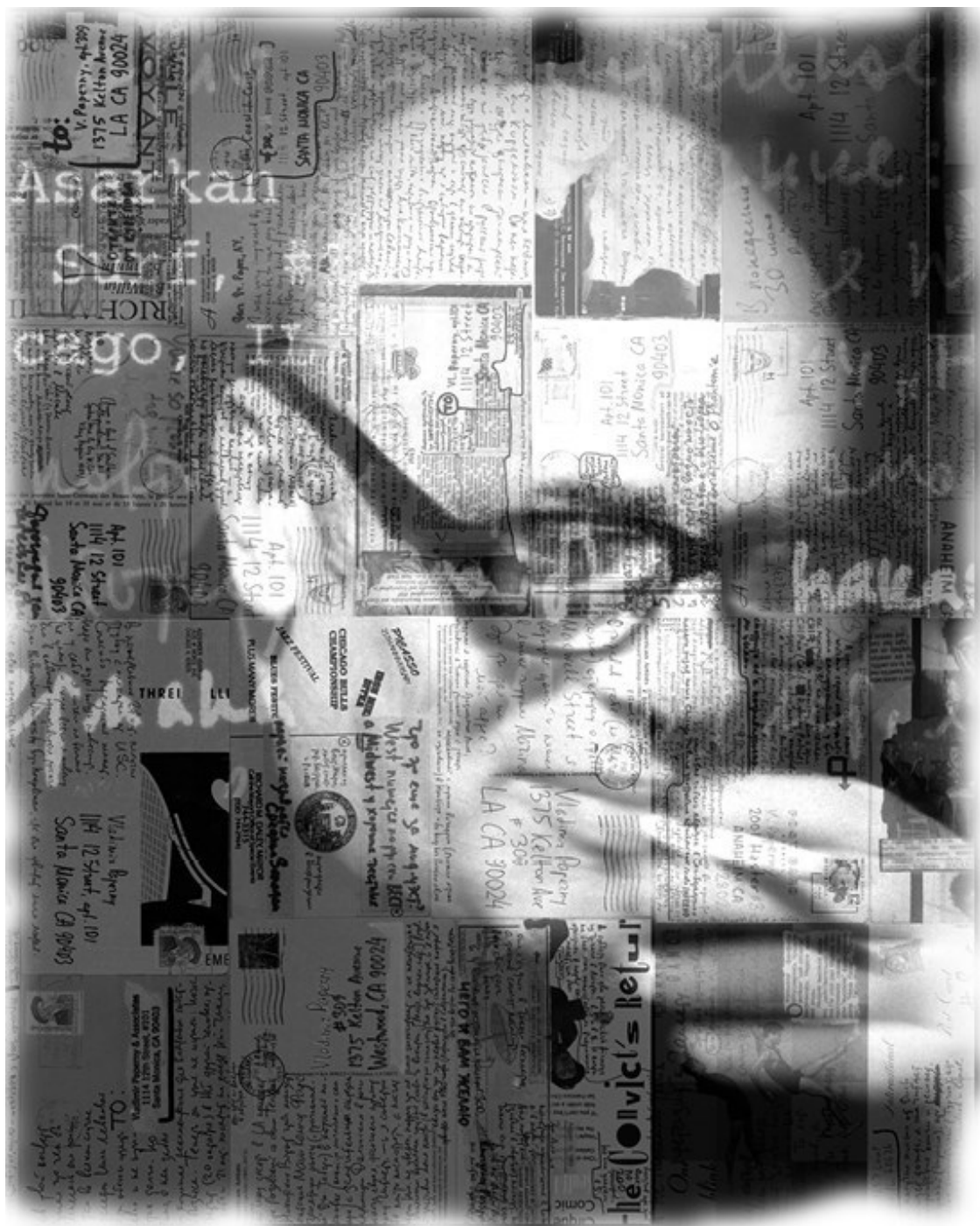
Асаркан

1

По своим последствиям Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года можно сравнить только с высадкой английских пуритан на скалу Плимут в бостонском заливе. В Москве стали появляться одетые в джинсы фарцовщики, немытые бородатые философы, абстракционисты с фломастерами и горящими глазами, сильно пьющие джазовые саксофонисты, голодные подпольные поэты и тому подобные невиданные существа. Моя первая любовь Оля Карпова была в самом центре этой цивилизации, во-первых, потому что ее старшая сестра Таня, учившаяся в инязе, как раз в это время бросила своего фарцовщика и связалась с абстракционистом, во-вторых, потому что Оля и Таня жили в Доме правительства.

Квартира на десятом этаже прямо над кинотеатром «Ударник» некогда принадлежала их бабушке скульптору Марии Денисовой. Ей были посвящены строчки Маяковского «приду в четыре сказала Мария». Бабушка со стороны отца, Анна Самойловна Карпова, была в свое время ректором ИФЛИ. Поскольку мои родители учились в ИФЛИ, а отец к тому же был специалистом по Маяковскому, можно сказать, что наша встреча с Олей была предопределена судьбой.

Как-то осенью 1959 года Оля позвала меня на очередное сборище в их квартире. Для меня поездка к Оле на метро от «Красносельской» до «Библиотеки им. Ленина» всегда была выходом в высший свет. Мы оба учились тогда в девятом классе, но в разных школах. Оля училась в центре, ее подругами были Лена Щорс и Алла Стаханова, внучки советских знаменитостей. Я же жил в пролетарском районе. Когда недалеко от нас открылась английская школа, моя мама, как настоящая комсомолка 30-х годов, категорически отказалась меня туда отдать, потому что там будут учиться «дети привилегированных родителей». В результате моими друзьями стали сын дворничихи-татарки и брат сидевшего уголовника.



Асаркан, коллаж автора

Олина квартира представляла собой одну огромную комнату-студию, больше ста квадратных метров, при входе была прихожая с крохотной кухней – предполагалось, что члены правительства будут брать еду на фабрике-кухне, находящейся в этом же доме. Стены украшены абстрактной живописью Олиного дяди, Юры Титова. Сейчас вся студия была до отказа заполнена странно одетыми людьми. У стены на коврик сидел бородатый босой человек. Раскачиваясь, он бил в африканский барабан и произносил монолог, в котором попадались слова «дзен-буддизм» и «Лао-Цзы». Все вместе – босые ноги, борода, барабанный бой, шаманские интонации, незнакомые слова – произвели на всех присутствующих, включая меня, гипнотическое впечатление. Когда бородач замолк, наступила тишина, которую нару-

шил худой, лысый, слегка оборванный молодой человек, сидевший в углу. Он негромко, но так, чтобы слышали все, произнес:

– Все это можно прочесть в третьем зале Ленинской библиотеки...

И после точно выдержанной паузы добавил, чуть скривив губы:

– ...правда, без барабанного боя.

После этого он встал, повернулся к сидящему рядом с ним юноше и сказал:

– Пошли отсюда.

Оба встали и, переступая через сидящие и лежащие тела, стали пробираться к выходу.

Эффект от этой реплики и драматического ухода был, пожалуй, даже сильнее, чем от монолога. Нельзя сказать, что реплика лысого была более интересной, чем барабанный бой, но ей он как бы присвоил себе весь монолог, показав, что все это давно ему известно и неинтересно, и ушел, лишив всех возможности задавать какие бы то ни было вопросы. По режиссерскому мастерству реплика близка к лучшим сценам из романов Достоевского, как потом выяснилось, его любимого писателя.

2

– Мы должны ходить в кафе «Артистическое», – объявила Оля через несколько дней. – Таня сказала, что там собираются интересные люди. Там даже бывает Асаркан.

– Кто это?

– А вот тот лысый.

Ни в каких кафе я до этого не бывал и, что там делают, не знал. Но Оля тогда была моим главным учителем жизни, и я безропотно согласился. Мы пришли в кафе. Красавица Таня сидела там в окружении друзей. Она небрежно помахала нам рукой, но за свой столик не пригласила. Мы сели в стороне и заказали кофе. Я нервно теребил в кармане деньги. Через какое-то время появился небритый Асаркан в сопровождении подростка-мулата. Они присоединились к Таниной компании.

Вид у нас с Олей был, наверное, испуганный и растерянный. Через какое-то время Таня сжалась и помахала, чтобы мы пересели к ним. Мы взяли наши чашки с «крем-кофе» (так тогда называли эспрессо) и пошли к их маленькому столику у окна, за которым уже сидело человек пятнадцать. Кое-как вдвинув свои стулья, мы сели. Асаркану это явно не понравилось.

– Пошли отсюда, – мрачно сказал он мулату, – тут слишком тесно.

Похоже, что эффектный уход был его излюбленным приемом. Мы с Олей сидели подавленные: мы что-то такое сделали, что не понравилось великому Асаркану.

3

Оля была не из тех, кто привык сдаваться без боя, и мы продолжали мужественно ходить в «Артистическое» после школы и пить там противный горький кофе. Однажды, месяца через три, мы сидели с Олей за столиком где-то в середине зала, а компания Асаркана, как всегда, сидела за столиком у окна. Вдруг произошло нечто странное: Асаркан вдруг обратился к нам через весь зал:

– Ребята, идите к нам, чего вы там сидите одни.

Мы с Олей стали оглядываться: к кому это он обращается?

– Сюда, сюда, – продолжал Асаркан.

Мы пересели за их столик, потом Асаркан сказал свое «пошли отсюда», и мы вышли с ним на улицу. Все это время Асаркан говорил. «Самый главный талант, – говорил он, – это не способность писать стихи или картины, это талант быть человеком. Мало кому удастся».

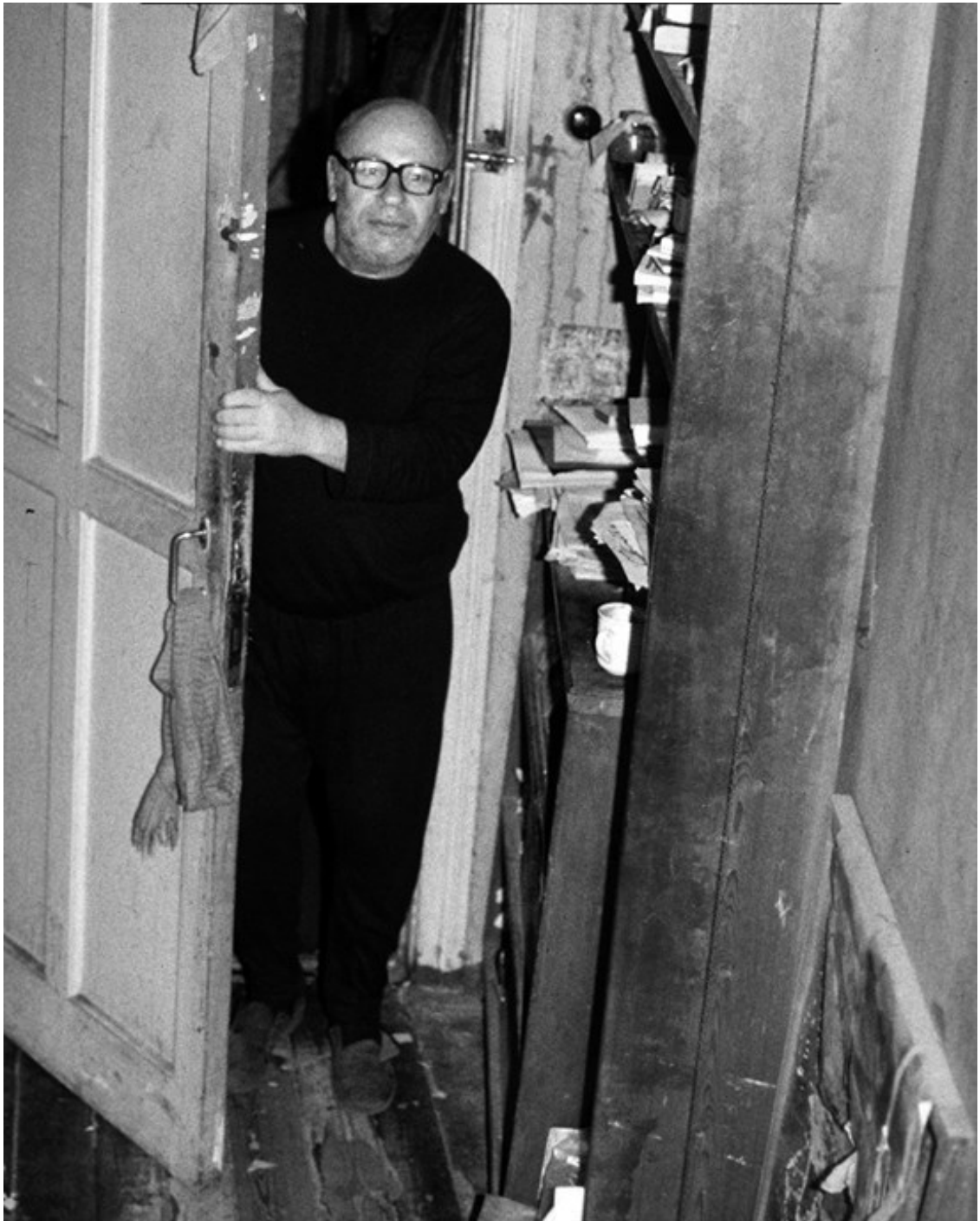
Этот монолог Асаркана продолжался много лет, в какой-то момент мы с Олей включились в этот монолог, и он стал диалогом, иногда очень конфликтным, потом Оля вышла за него замуж и родила Аню, а потом Асаркан уехал в Чикаго.

4

Он всегда агитировал за отъезд и даже обсуждал самые фантастические планы бегства из СССР. Когда появилось окно в виде израильской эмиграции, все друзья и знакомые стали интересоваться, когда же он наконец подаст заявление. На что он отвечал следующее:

– Я вот уже три года всех спрашиваю, где калининское отделение милиции, и никто не говорит. Как я могу взять оттуда справку, если никто не хочет мне сказать, где оно находится. Но даже если представить себе, что я каким-то чудом собрал все справки (у меня, кстати, нет свидетельства о смерти родителей) и сделал ремонт в квартире (а без этого не выпишут), дальше начинается самое трудное: надо вносить сорок рублей. А где я их возьму?

Друзья и знакомые были уверены, что стоит только нашему Асаркану пересечь границу, как мировая прогрессивная общественность тут же поднимет его на пьедестал. Он будет сидеть где-нибудь в кафе «Флориан» на piazzа Сан-Марко в Венеции и произносить монологи, а толпы учеников и поклонников записывать их и тут же публиковать. Поэтому друзья и знакомые сами собрали все справки, сами сделали ремонт в его комнате и сами внесли сорок рублей. После чего Асаркану ничего не оставалось, кроме как положить в пластиковый пакет блок сигарет «Шипка» и последний номер итальянской газеты «Унита», сесть в самолет и улететь.



Асаркан в своей комнате, 1980

5

За несколько месяцев до его отъезда я позвонил Оле, у которой был день рождения. Подошел Асаркан.

– Вадик? Давай быстрее сюда. Тут мясо жарят. Его насаживают на специальные палочки и окунают в кипящее оливковое масло. Все это нагревается спиртовкой и называется «фондю». Этот аппарат притащила Диса. Они еще с Олей тут изготовили шесть соусов

по французскому рецепту из ингредиентов, которые тоже притащила Диса. Шесть бутылок «Божоле». Давай быстрее, а то все сожрут!

Я поехал только на следующее утро. Позвонил в дверь около двенадцати. Мне долго не открывали, похоже, что все спали. Через некоторое время мне открыл Асаркан и остался сидеть на кухне (она же прихожая). Оля выползла минут через двадцать. Вид у обоих был опухший. Стол был не убран. Стояли недопитые рюмки и грязные тарелки.

– Зря вчера не приехал, – мрачно сказал Асаркан.

– Ничего, – сказала Оля, – мясо осталось и соусы остались...

– Очень плохо, что остались, – злобно проворчал Асаркан, – надо, чтоб ничего не осталось. Ничто не должно повторяться. Ему сказали, чтоб вчера приезжал, а он не приехал.

– Я же прямо с самолета...

– Молчи. Не приехал. И теперь ему ничего давать не надо. Вчера был целый ритуал, было мясо, были соусы, все сидели вокруг этой машины, а теперь ничего этого не будет.

– Будет, будет, – сказала Оля, – я сейчас поставлю кастрюльку с маслом на газ.

– Вот, вот! – закричал Асаркан. – Именно кастрюльку. А вчера был специальный медный сосуд, и не на газ его ставили, а на спиртовку.

– Никакой разницы, – вставил я.

– А, черт с вами, – махнул рукой Асаркан, – я пошел спать.

Но не ушел, а, наоборот, стал жарить мясо в кастрюлке.

– А я бандероль от Зиника получил из Лондона, – гордо объявил я.

– Все бандероль от Зиника получили, – сказал Асаркан жуя. – Все. Какой там у тебе набор? Что? Кингсли Эмис? Знаю я этот набор. Плохой набор. Что еще? Лондон в картинках? Плохой набор. Самый плохой. Другие, впрочем, еще хуже.

6

На Новый год мы с Яником сделали себе подарок: выписали Асаркана из Чикаго в Лос-Анджелес. Трудно представить себе более неудачный поступок. Вся затея оказалась крайне мучительной и для нас, и для него. Когда ему сообщили об этом приглашении по телефону, он стал говорить примерно следующее: ну вот, я так и знал, что что-нибудь в этом роде случится, теперь все пропало, я, конечно, не напишу вовремя свое сочинение для «Нового Русского Слова», они вовремя не пришлют чек, мне нечем будет заплатить за квартиру, с хозяином я объясниться по-английски не сумею – катастрофа, хуже этого ничего не могло случиться.

Мы с Яником, слушая этот текст, полагали, что так и надо, что не может же Асаркан просто так взять и сказать: «Спасибо, детки, уважили старика», – и приехать. Надо же ему покапризничать, поломаться, чтобы в конце концов вышло, что не мы ему дарим билет, а он нас одаривает своим согласием. Наш Фома Опискин так и должен себя вести, думали мы, а в душе он рад. Мы ошибались. Ему действительно не хотелось ехать. Ему совсем было неинтересно увидеть все то, что мы хотели ему показать: горы, океан, фривей, бензоколонки, университеты, компьютеры, теннисные корты, библиотеки, телефоны, французские кафе, китайские рестораны, космополитическую толпу в Вествуде, – всю эту нашу знойную калифорнийскую жизнь. Главное, конечно, нам хотелось показать нашу включенность в эту жизнь, адаптированность, автоматизм пользования ею. Это как когда-то в Москве, когда ты видел приезжего, с ужасом вступающего на эскалатор в метро – у него с грохотом падают сумки, а сам он, вцепившись в поручень, с трудом удерживает равновесие – тут ты на секунду осознавал свой собственный автоматизм, чтобы тут же снова о нем забыть.

Это желание демонстрировать свою адаптированность и свой автоматизм само по себе достаточно суетно. Хуже то, что Асаркан меньше чем кто бы то ни было может служить

аудиторией для такого демонстрирования, просто потому что он сам абсолютно не включен и не адаптирован, а чья-то демонстративная адаптированность ничего, кроме естественного раздражения, вызвать у него не может. Он никуда не ходит, практически никого не видит, ничего не делает, только круглосуточно смотрит телевизор и время от времени пересказывает телепередачи на страницах «Нового русского слова», при этом всегда что-нибудь путает, потому что плохо понимает по-английски.

Приехав в Лос-Анджелес, Асаркан, естественно, захотел не слушать, а говорить. Но это уже было невыносимо для нас. Когда он ходил по Москве и пересказывал итальянские газеты или редакционные сплетни из «Недели», это было интересно, потому что он сообщал некоторую не всем доступную информацию. Что же он рассказывает здесь? Про содержание и тип верстки новой газеты «Ю-Эс-Эй Тудей» – первой в истории общеамериканской (а не местной) газеты. Автоматы по продаже этой газеты стоят на каждом углу, опускай монету и читай – только не хочется и нет времени, хватает и нашей «Лос-Анджелес Таймс», журналов «Тайм», «Смитсоиан», еще каких-то детских, которые мы выписываем, двух десятков архитектурных, которые я получаю на работе, да еще кучи каких-то непрошенных листков, брошюр, памфлетов (в английском смысле) и информационных бюллетеней, которые иногда переправляются из почтового ящика в мусорный нераскрытыми. Можно ли меня увлечь еще одной газетой!

Пересказ популярных телевизионных передач тоже слушать не слишком интересно. Телевидение в Америке – это как наркотик: оно затягивает. Есть, конечно, специальные каналы и специальные передачи, от которых вроде бы даже можно поумнеть, но этим надо специально заниматься: устанавливать специальные антенны, следить за программами, а у нас пока до этого руки не доходят. Поэтому главная задача: стараться смотреть как можно меньше и стараться, чтобы дети смотрели как можно меньше, если же их оставить на произвол телевидения, то они будут его смотреть 24 часа в сутки и заметно отупеют. Проверено. Поэтому Асаркан, с увлечением пересказывающий сериал типа «Чарлиз Энджелз» или рекламу картофельных хлопьев, производит примерно тот же эффект, как если бы он в Москве сказал: «Сегодня прочел передовую “Правды”, там очень интересно ставится вопрос о необходимости дальнейшей химизации сельского хозяйства, очень правильная и своевременная постановка вопроса». В этом смысле Асаркана и мулатку Вику постигла в Америке одинаковая судьба – оба потеряли свою уникальность. Вика – внешнюю экзотику. Асаркан – уникальность образа жизни.

Его московская уникальность состояла в том, что он вел образ жизни опустившегося бродяги, принадлежа в то же время к высшим сферам – редакции, театры, закрытые просмотры и т. п. Финансовый статус мало кого интересовал. Здесь же он оказался принадлежащим к категории «неспособных работать» и получающих вэлфер. Это дно. Он оказался в компании мексиканских фермеров, нелегально перешедших границу, так и не сумевших выучить английский, спившихся автосборщиков из Детройта, негров-наркоманов, состарившихся проституток. Тот факт, что данный получатель вэлфера умеет писать статьи в русские газеты, никакого ореола здесь ему не прибавляет. У американцев – потому что их мало волнует сама по себе способность писать, тем более на непонятном языке. Русских – потому что большинство из них бессознательно усвоило американскую систему ценностей.

И Вика, и Асаркан пытаются компенсировать утерю уникальности тем, что обрушивают на собеседника некоторый авторитетный, с их точки зрения, текст, с помощью которого они хотят удержаться на поверхности. Вика пишет письма на 20 страницах, 10 из которых переписаны из Ветхого Завета и 9 из Нового. Асаркан не выпускает из рук «Ти-Ви Гайд» – самое массовое издание в США. Это не так глупо, как может показаться. Пафос массовой культуры мог бы найти себе поддержку среди некоторых американских искусствоведов. Но,

во-первых, мода на массовую культуру (как, впрочем, и на оборванность и небритость) прошла. Во-вторых, надо знать английский язык.

Асаркан всю жизнь повторял строчки Есенина-Вольпина: «А когда пойдут свободно поезда, я уеду из России навсегда». А когда они действительно пошли, деваться было некуда, надо было становиться жертвой идеи, садиться и ехать. И пересказывать «Ти-Ви Гайд». Но во всем этом есть элемент подвига. В результате мы, так называемые ученики асаркановского колледжа, из категории «всех-этих-яников-зиников-вадилов», тем или иным способом оказались «там», и из нас когда-нибудь произрастет новая субкультура младоасарканцев, и мы на площади перед Капитолием поставим наш собственный монумент: отлитые из бронзы газету «Унита» и пачку «Шипки».

2007

Конец соцарствия

Первый раз я увидел Алика Меламида, когда ему было лет 10, а мне 11. Мои родители учились вместе с его матерью в знаменитом ИФЛИ, и однажды мы жили летом рядом где-то в Прибалтике. Хорошо помню Алика, мрачно и безучастно слушавшего, как его родители пиарят своего вундеркинда.

Когда много лет спустя я решил поступать в Строгановку, мои родители посоветовали позвонить Алику, который уже учился там на первом курсе. Алик сказал, что даст мне урок рисунка. Он поставил передо мной гипсовую голову Сократа и стал показывать, как надо прикреплять бумагу к листу фанеры. Кнопки в доме не нашлось, Он принес молоток и шурупы и стал забивать шурупы в фанеру молотком. Шурупы гнулись, фанера трескалась. Я с восхищением смотрел на эти действия. Мне казалось, что настоящий художник и должен быть абсолютно непрактичным. Выпускник кружка «умелые руки» Дворца пионеров Сокольнического района, я понимал, что у меня шансов стать настоящим художником мало.

Кое-как ему удалось прикрепить лист бумаги, и урок начался.

– Самое главное, – сказал Алик, – это выделить светлые и темные части предмета, обвести их тонкой линией и потом ровно закрасить карандашом. Это придает рисунку законченность и, если угодно, красоту.

Я никогда не слышал подобной теории рисунка, ни до, ни после этого урока. Это была импровизация. Рисовать просто так, без всякой идеи, Алику было невыносимо скучно. Несколько лет спустя, когда мы сидели в вестибюле Строгановки и обменивались сальными замечаниями по поводу каждого проходящего мимо существа женского пола, он объяснял мне:

– Ты, наверное, думаешь, что художники делятся на более талантливых и менее талантливых. Это все ерунда, надо ухватить идею. А когда ухватил, то ты ее насилуешь и насилуешь, сколько можешь.



Виталий Комар и Александр Меламид. «Между войной и миром». 1995

На зимние каникулы, где-то на втором или третьем курсе, мои родители сняли для нас с Аликом коттедж при доме отдыха на подмосковной станции Жаворонки. Третьим должен был поехать наш общий друг Володя Иванов. Двухэтажный коттедж оказался огромным, и мы тут же стали звонить друзьям, приглашая их в гости. Скоро в коттедже проживало уже человек двадцать, среди них были врач и поэт Юра Фрейдин, математик и искусствовед Володя Петров по кличке Бэм (что расшифровывалось как «большая энциклопедия Москвы»), филолог Гога Анджапаридзе, впоследствии ставший важным советским чиновником, художницы Таня Чудотворцева, Лия Вайнберг, Катя Арнольд (впоследствии жена Алика) и их многочисленные друзья, многих из которых я до этого не знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.